

Андрей Иванов

Смотрительница музея

Монолог

Она мне поверила, конечно, поверила. Елена Леонидовна – Человек, что и говорить... Если бы и она меня назвала «грязной бабкой», не знаю... Не знаю, кому еще бы я могла доверять. Елена Леонидовна, хоть и директор, а утешила. Чаю мне заварила. Хоть я и простой смотритель. Добра ко мне была. Хоть я и стекло разбила... Можешь воды мне налить? Спасибо.

Как у людей поворачивается язык такое говорить? Мне 80 лет... «Напала?» «Била?» Я не могу понять... Я никого в жизни не ударила. ПАУЗА. Но я хотела. Очень хотела ударить.

У меня до сих пор в ушах сигнализация. Мне так страшно. Это музейная сигнализация. Она такая, знаешь, похожа на школьный звонок. Но я как вспомню, меня бросает в дрожь – потому что у меня где-то глубоко во мне живет другая сигнализация. Сирена. Она другая. Не как звонок. Она протяжная... Воет. Совсем не похожа. Но эта музейная так ее напомнила почему-то...

Я услышала музейную впервые из-за той женщины в платочке с лилиями. Я дежурила тогда в седьмом зале – Византийское искусство и Италия. А там иконы. И эта женщина в платочке подходит и спрашивает: а можно я приложусь? Я – неверующая, но я никогда не умаляла этих религиозных чувств у других людей. Но это же музей! Говорю: вы же в Пушкинском музее! Это произведения искусства! А еще они все под сигнализацией. И только я отвернулась, она великомученика Пантелеймона давай лобызать. И тут эта сигнализация и включилась, конечно. И я застыла. Оцепенела. Вспомнила другую сигнализацию. Свою. Сирену. Протяжную... Женщина в платочке увидела мое лицо, испугалась и убежала.

Вокруг да около хожу. Не хочу, видимо, тебе рассказывать, что произошло. Сейчас Корвалол свой выпью.

Они пришли к вечеру. Это зал восьмой. Германия-Нидерланды, пятнадцатый-шестнадцатый. Люблю его. Там такие мадонны, портреты красивые. Ну вот они пришли, ходят. Такая барышня в кожаном пальто, непростая. И девочка с ней – лет шести. С такой страшненькой куклой современной, маленькой такой. Девочка – ангел. Глазки большие, темные, олененок. А мать такая, непростая, губы поджамши ходит, жестко так тащит девочку с тобой, что-то ей говорит тихонько. А девчушка икает. И так я умилилась – эта икотка детская, с эхом. В большом зале. Как будто молитва для меня это, наверное, прозвучало. Сажу, улыбаюсь. Я люблю детей, ты же знаешь. Я даже когда в конце дня с фонариком зал обхожу, свечу – ищу не налепил ли кто жвачку на картины – не злюсь никогда, даже если нахожу резинку. Детишкам нужно проказничать – для здоровья их полезно, я считаю. Да. Своих не было, люблю чужих. Всех люблю. У меня была такая подопечная, как этот олененок – Катя из Перми. Мне было 5, а ей 4. Она тоже с мамой попала в тот шталаг. Потом ее маму немцы угнали дальше, в польский лагерь какой-то. А Катя осталась. Нас когда на огороды к местным посылали, я картошку для нее прятала. Прикормила. Мы с ней в дочки-матери играли... Я ей завтраки лепила из глины – понарошку такие трапезы. У нас за баракком была яма с глиной... Яичко, две сосиски, и бутерброд с колбасой. А она улыбалась и мамой меня называла.

Ну и вдруг я слышу плач. Только что икала, а теперь плачет. Смотрю – а они стоят возле «Мадонны в винограднике» - там такие Мадонна с младенцем, такие кроткие, лица аж светятся – и мать бьет олененка по рукам. По рукам, представляешь?! Прямо отчетливо берет и своей рукой по маленьким рукам. Куклу она выронила. Не знаю за что бьет. У меня все похолодело внутри. Нас фрау Бяка так наказывала. Не помню даже как ее звали. Все дети называли просто «Фрау Бяка». Била железной линейкой. Очень было больно. И прутом. И просто рукой. Мне уже стало жарко, слезы прямо выступили, все как в тумане. Ломала пальцы иногда. Я смотрю – вот она мамаша в кожаном пальто – а так посмотришь – фрау Бяка. Перекошенное лицо, злое. И Катя моя плачет. Сейчас она потащит мою Катю из барака, и кинет в машину к другим малолеточкам. Их повезут в госпиталь – кровь переливать, и никогда я ее больше не увижу. Никогда-никогда. Я не помнила себя совсем в тот момент. «Перестаньте бить ребенка!» - так на нее заорала, на дамочку, и откуда у меня голос только взялся? Она мне начала хамить что-то, но я не слышала ее почти, так кровь стучала. Как же я хочу тебя ударить, фрау. Я так ее хотела ударить, чтобы она упала. Хотелось схватить олененка, прижать к груди и бежать.

Нельзя бить детей.

Я бы точно что-то сделала. Поэтому я ударила в стекло. Там деревянная фигурка стояла рядом пятнадцатого века под стеклом. Разбила. Руку поранила. И включилась сигнализация. Музейная, нестрашная, но во мне сразу ожила моя сирена, лагерная. И я как рыба в воде была в ней. В знакомой отравленной воде. Я стою и цепенею, хватаю воздух ртом. Мне так страшно... И говорю своей Кате белыми губами: Беги, Катенька.

ПАУЗА

Она написала, что я накинулась с кулаками на нее и олененка. «Грязная бабка» - это обо мне. Леонидовна мне поверила. Все ей рассказала. Говорит – может, отдохни? Но это вроде как не увольнение. А, может, и увольнение. Я и сама думаю – а если опять сигнализация сработает? Или что-то такое? Пугать людей не хочу. Уходить, наверное нужно.